

Зеркало
памяти

**ЭДВАРД
РАДЗИНСКИЙ**
**Моя театральная
жизнь**



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р15

Дизайн серии *Андрея Фереа*

Дизайн обложки *Яны Половцевой*

На переплете фото автора работы *Александра Горчакова*

В оформлении книги использованы фотографии из архивов
ФГУП МИА «Россия сегодня» (работы *А. Невежина, А. Гладиштейна,*
А. Князева, П. Манушина, М. Муразова, Е. Новоженной, Т. Красовской,
В. Барановского, Г. Кисчук, А. Макарова, В. Федоренко) и агентства
ИТАР ТАСС (работы *Н. Малышева, В. Яцина, В. Христофорова*)

Радзинский, Эдвард Станиславович.

Р15 **Моя театральная жизнь / Эдвард Радзинский — Москва:**
Издательство АСТ, 2021. — 320 с.; ил. — (Зеркало памяти)

ISBN 978-5-17-126839-8

Это история знаменитого драматурга. Всех его трудностей и побед. В пьесах Эдварда Радзинского играли самые яркие звезды нашего театра: Татьяна Доронина, Наталья Гундарева, Евгения Симонова, Ольга Яковлева, Ия Савина, Марина Неелова и Светлана Немоляева, а также Михаил Ульянов, Ростислав Плятт, Армен Джигарханян, Андрей Миронов, Олег Басилашвили, Олег Меншиков, Евгений Миронов и многие другие. Их ставили знаменитые режиссеры — Анатолий Эфрос, Георгий Товстоногов, Андрей Гончаров, Роман Виктюк, Валерий Фокин... В конце 80-х — начале 90-х его пьесы шли за рубежом. Американский журнал «Backstage» назвал Радзинского самым ставящимся на западе русским автором после А. Чехова.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-126839-8

© Радзинский Э. С., 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Отец

Отец был интеллигентом, помешанным на европейской демократии. Он часто цитировал мне Томаша Масарика: «Что такое счастье? Это — право выйти на главную площадь и заорать во все горло: “Господи, какое же дурное у нас правительство!”»... И глаза его становились влажными.

Его идолом был вождь кадетов Павел Милюков, его частый рассказ — как Владимир Набоков, отец знаменитого писателя, закрыл своей грудью Милюкова от пули и погиб сам. Отец восторженно приветствовал Февральскую революцию. Это была его революция, его правительство. «Его, как первую любовь, России сердце не забудет», — цитировал он чьи-то стихи о Керенском. Но несколько месяцев свободы быстро закончились, и к власти пришли большевики. Почему он не уехал за границу — он, блестяще образованный, говоривший на английском, немецком, французском и даже думавший часто по-французски? Обычная история: он любил Россию. В 20-х он редактировал одесский журнал «Шквал» и писал статьи под псевдонимом Уэйтинг, что означало «Ожидающий». Ожидающий возврата погубленного мира — мира

Февральской революции, мира, где будет править первый свободно избранный русский парламент.

Однако первый русский парламент бесславно погиб (как и Февральская революция). Его заседания преспокойно прекратил полуграмотный матрос с револьвером. И под дулами наганов, под насмешки матросни избранные народом депутаты, тесня друг друга, покорно заспешили к выходу. В профессию политика входит не только жизнь, но и смерть. Она подчас важнее его жизни. Но не нашлось никого, кто согласился бы умереть во имя свободы... Отец этого понимать не хотел.

Тот краткий глоток свободы — время митингов, надежд, свободы — воистину казался золотым веком в торжественно глухой тьме сталинской России.

В 20-х «Ожидающий» был уверен, что исчезнувший мир Февраля когда-нибудь вернется. А пока он писал сценарии для первых немых советских фильмов на знаменитой Одесской кинофабрике. Но вскоре наступила пора окончательного укрощения мысли. Гибель Авангарда и Утопии — создание сталинской тоталитарной империи.

Мы не позволим жандармским коленям,
Музу зажав, ей кудри остричь.
Будь они из Третьего отделения,
Или из Особого отдела Три, —

гордо писал поэт в 20-х.

Позволили, еще как позволили!

Интеллигенцию наградили страхом и немотой.

Но отец не роптал, он жил тихо, незаметно, точнее — существовал. Оставив журналистику, переводил пьесы с французского, писал инсценировки для театра. В том числе и по романам знаменитого в сталинское время писателя Петра Андреевича Павленко.

Любимым героем отца был философ-скептик Бротто из романа Анатоля Франса «Боги жаждут». И как франсовский герой печально-насмешливо наблюдал ужасы Французской революции, с той же печально-насмешливой улыбкой отец наблюдал жизнь сталинской России... с французским романом в руках.

Он учил меня размышлять, вместо того чтобы действовать. Он верил в изречение: «Кто действует, тот не размышляет». Он просил меня не забывать — даже маленькая монетка, поднесенная к глазу, заслоняет от тебя целый мир. Никакого фанатизма. Любовь к живущим, ирония и сострадание — таков был его девиз. Он был всегда мягок и вежлив и ненавидел спорить. И был прав. В российском споре, обычном споре до ненависти, всегда умирает истина.

И он любил повторять строки: «Но в мире все вмещает человек, который любит мир и верит в Бога».

И когда я с восторгом декламировал любимую строчку Маяковского: «Тот, кто постоянно ясен, — тот, по-моему, просто глуп», — он только пожимал плечами.

Но однажды все-таки сказал:

— Это завет глупца. Постарайся запомнить другое... понять это сейчас ты вряд ли сможешь. — И он заставил меня записать слова Сенеки: «Так пойми же, что дается мудростью: неизменная радость. Душа мудреца — как надлунный мир, где всегда безоблачно. Значит, есть ради чего нам стремиться к мудрости: ибо мудрец без радости не бывает».

Почему его не посадили? Его защитила мощная фигура Павленко. Тот был автором сценариев двух самых знаменитых кинофильмов «Клятва» и «Падение Берлина». В этих культовых фильмах действовал сам Вождь. Романы Павленко тоже были знамениты. Четырежды ему присуждали Сталинскую премию первой степени. Согласно логике тех времен, арестовать отца — значило бросить тень на Павленко.

Но отец понимал: это когда-нибудь закончится.

И он ждал. Был даже собран узелочек на этот случай. Но, несмотря на эту жизнь под топором, он всегда улыбался. Я так и запомнил его с этой вечной улыбкой.

Он очень любил бунинские слова, которые бог весть как донеслись из эмиграции: «Хорошо было Ною — в его жизни был всего один потоп. Правда, потом пришел Хам, но ведь тоже всего один».

Слова эти часто повторял и знакомец отца Юрий Карлович Олеша.

Первые уроки истории

В 13 лет я начал понимать про Сталина, хотя тогда отец ничего не говорил мне о нем. Но у нас лежало Собрание сочинений вождя. И я с изумлением прочел его. И понял, что все эти ужасные расстрелянные «враги народа» были в свое время друзьями и союзниками Сталина.

Кроме того, к нам приходил некий мальчик Игорек, его кормили, давали ему деньги. И он уходил.

— Его отца посадили, — шепнула мне моя няня.

Няня, как я потом узнал, была дочерью кулака. Отца и мать выслали, а они с сестрой бежали из деревни, и перед бегством няня сожгла свою избу. Моя мать все это знала, но приютила ее.

Однажды я спросил отца о Сталине. Он ничего не ответил. А потом дал мне прочесть рассказ. В нем люди молились в храме божеству. А потом оказалось, что в алтаре за занавесью лежал гигантский спрут.

С 15 лет он стал пересказывать мне устные рассказы Павленко о Сталине. Как и опубликованные впоследствии рассказы Симонова, они были полны восхищения... Восхищения мощью диктатора. Умом диктатора. Юмором диктатора. Рабского восхищения.

И отец это как-то легонько подчеркивал. И после каждого рассказа следовал его вечный рефрен: «Может быть, когда-нибудь ты напишешь о нем».

В детстве моим кумиром был Наполеон. Фантастический человек, вернувший в XIX век, обещавший стать веком буржуа и денег, безрассудное величие античных героев. Человек, отвергавший понятие «невозможно».

«Дерзайте!» — любимый лозунг Французской революции — его жизнь!

Я был плохим патриотом. Я много раз читал любимую книгу Тарле о Наполеоне, тщетно надеясь, что на этот раз великий Наполеон все-таки победит. Остров Святой Елены я ненавидел. В конце концов я научился читать книгу Тарле так, как мне хотелось. Я заканчивал читать ее конгрессом в Дрездене, где Наполеон собирал жалких, трепещущих европейских королей. Тридцать европейских монархов съехались поклониться ему. И прусский король, и австрийский император, и немецкие князья — стояли с покорно обнаженными головами, а он стоял перед ними в треуголке с кокардой Французской республики.

Я попросту теперь не читал дальше — ни про отречение, ни про Святую Елену.

Я не мог понять отца, который все пытался объяснить мне, что без острова Святой Елены, без трагического финала — нет наполеоновской легенды.

«У меня были две короны — Франции и Италии. Мне не хватало третьей и самой главной — тернового венца», — цитировал отец слова Наполеона. Пытаясь объяснить: без страдания нет подлинного бессмертия. «Кто такая Мария-Антуанетта без гильотины? Заурядная кокетка, носившая корону, как модную шляпку», — говорил отец.

Но тщетно. Я был здоровый подросток. Я не понимал радости страданий. Я понимал тогда только радость побед.

Илья Самойлович Зильберштейн был другом отца и редактором знаменитого «Литературного наследства». Он был знаменитым коллекционером русской живописи. Его квартира была увешана картинами великих мастеров.

— Это — Репин, — объяснял он мне, — очень редкая картина... И это тоже — Репин, а это — Серов...

Но я был равнодушен к его фантастической галерее, ибо там не было Наполеона.

Илья Самойлович решил исполнить мою мечту — он отвел меня к самому Тарле.

Поход к Наполеону

Я не знал тогда его удивительной биографии. Евгений Тарле был знаменитым историком уже в начале XX века. Один из самых популярных профессоров Петербургского университета, он участвовал в демонстрации — получил удар казацкой шашки. С радостью встретил Февральскую революцию — стал членом Чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений царского режима.

При большевиках был избран в Академию, но...

Для большевистских историков он оставался подозрительным, «классово чуждым», несмотря на революционный шрам от казацкой сабли.

И уже в январе 30-го года Тарле был арестован. На инспирированном процессе Промпартии он фигурировал как будущий министр иностранных дел в правительстве заговорщиков... Но это была лишь «проба пера» будущих кровавых процессов Большого террора. Тарле посадили. Но сидел он всего полтора года в знаменитых «Крестах», после чего отделался высылкой. Сталин с недоверием относился к врагам Тарле — историкам-марксистам, как правило, почитателям Троцкого и прочих вождей революции.

Уничтоживший их всех впоследствии, Сталин быстро вернул Тарле из ссылки. Более того, в разгар террора Тарле вернули звание академика. Сталин, смиритель нашей революции, благосклонно отнесся к его «Наполеону» — смирителю революции французской.

Теперь Тарле жил в знаменитом «Доме на набережной», большинство прежних обитателей которого лежали в бездонной могиле в Донском монастыре.

В этот дом и привел меня Зильберштейн.

Тарле шел восьмой десяток, и он был пугающе похож на Наполеона в старости. Он, конечно, это знал.

Во всяком случае, помню, он сидел под огромной гравюрой Наполеона.

Посещение меня разочаровало. Тарле как-то холодно выслушал мои восторги Наполеоном. И вообще, о Наполеоне, к моему разочарованию, в этот вечер он совсем не говорил. Вместо этого он долго и нудно рассказывал о классовых выступлениях французских рабочих в XIX веке. После чего они с Зильберштейном заговорили о письмах Герцена, выкупленных Зильберштейном за границу. Экземпляра «Наполеона» у Тарле почему-то тоже не оказалось. Вместо желанного «Наполеона» он подарил мне свою книгу «Жерминаль и Прериаль». Книга оказалась все о тех же французских рабочих и показалась мне невероятно скучной. Но главное — там не было Наполеона.

Отец выслушал с улыбкой мои разочарования и промолчал. Он не посмел мне объяснить: увенчанный славой старый академик попросту испугался. Испугался мальчишеских восторгов Наполеоном, как бы порожденных его книгой. Ведь Бонапарт был врагом России. И к тому же душителем революции. «Бонапартизм» — одно из страшных обвинений во время сталинских процессов. И старый Тарле поспешил подарить мне «правильную книгу» — о классовой борьбе французских трудящихся.

Друзьями отца были Виктор Шкловский и Сергей Эйзенштейн. У меня долго хранилось чудом уцелевшее раблезианское письмо Эйзенштейна к отцу с весьма откровенными рисунками. (Его украли из моего дома.)

Вообще, от отца осталось мало его личных вещей. Слишком много его знакомых отправились на тот свет, слишком много писем и фотографий ему пришлось уничтожить.

Отец окончил знаменитую одесскую Ришельевскую гимназию. Остались великолепные тома Шекспира и Алексея Толстого, которыми награждали лучших ришельевцев «за благонравие и отличные успехи».

И осталась фотография. На ней — шестеро гимназистов, трое из них погибли в Гражданской войне, сражаясь на стороне белых.

«История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом».

Но один из бывших гимназистов-ришельевцев жил тогда в соседнем парадном. И часто навещал отца.

Его звали Юрий Карлович Олеша.

Я до сих пор его вижу... Он идет по весенней Москве, коренастый, в длинном, когда-то белом плаще.

И этот выдавший виды грязноватый плащ почти волочится по асфальту. И шарф как-то щегольски намотан на шею. И шляпа — широкая, тоже выдавшая виды, с опущенными полями. Из-под этих полей — его хищный нос, седые усы и беспощадный взгляд нашего писателя в несчастье...

Он входит в букинистический магазин. Букинист почтительно предлагает ему, видно, редкие книги. Стоя у прилавка, он листает страницы. Точнее — ласкает страницы... гладит, нежно переворачивает. А потом с какой-то яростной усмешкой возвращает книгу.

И старый букинист, понимающе покачав головой, ставит книгу на место.

У Олеша нет лишних денег. У него вообще нет денег.

Ибо он пьет.

В 20–30-х годах он гремел. Его повесть «Зависть» была не просто знаменита. Ее начало — эпатажная